

1. После лекции об Анне Ахматовой

Ахматова опубликовала лирические стихи, искренние и стилистически отточенные. Наиболее популярным юмористом являлся Михаил Зощенко, верный сторонник советского строя.

Эрнест Симмонс. Современная русская литература. Издательство Корнельского университета, 1944.

14-го августа 1946 года ЦК Коммунистической Партии в своём Постановлении сурово осудил журналы “Звезда” и “Ленинград” за публикацию произведений Зощенко и Ахматовой.

В зеркале советской литературы. Наблюдения за советским обществом. Под ред. и с предисловием Эрнеста Симмонса. Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета, 1953.

В 1992–1993 учебном году вёл я два курса в университете под Вашингтоном. Из Американско-Российского фонда культурного сотрудничества ко мне обратились с просьбой прочесть общедоступную лекцию об Анне Ахматовой. Ахматовские чтения устраивала Библиотека Конгресса, руководил ими Иосиф Бродский, занимавший при библиотеке место Поэта Лауреата, но туда нас не приглашали. Филиал чтений организовало посольство Швейцарии, там я и выступил.

* Главы из книги, которая готовится к выходу в Издательстве им. Сабашниковых. Дмитрий Михайлович Урнов (родился в 1936 году) – литературовед, в 1958–1988 годах – сотрудник Института мировой литературы им. М. Горького, в 1988–1991 годах – главный редактор журнала “Вопросы литературы”, в 1978–1991 годах координировал проекты по литературоведению в рамках Двусторонней комиссии гуманитарных наук АН СССР и Всеамериканского совета ученых обществ, в настоящее время является консультантом Американско-Российского фонда культурного сотрудничества.

Пока готовил лекцию, вспоминая слова Симонса: “Сами же делаете из них мучеников”. Ведущий русист-советолог, основатель Русского института при Колумбийском университете (где в своё время стажировался А. Н. Яковлев), имел в виду политические преследования писателей, что, по его мнению, не оставляло нашим противникам другого выбора, кроме как затевать антисоветские кампании в защиту свободы творчества. Припомнил я многое из того, что позволяло понять механику нашего самосокрушения, о чём когда-то читал в спецхране, а теперь всё находилось под рукой. Подготовка лекции об Ахматовой и её судьбе заставила меня в который раз поразмыслить о ситуации “Поэт и Царь”. Кто окажется способным в самом деле исследовать ахматовский эпизод, ставший *локус классикус*, образцовым случаем, упомянутым чуть ли не в каждой летописи развала советского режима, тот проникнет в сердцевину наших поражений.

Находчивый публикатор, изучивший по архивам эпизод в то время, когда я был главным редактором “Вопросов литературы”, установил, что дело было не в Ахматовой, а в... авиации, точнее, авиационной промышленности, и даже столь важная отрасль служила лишь поводом в конфликте, имевшем к самолётам такое же отношение, как и к стихам¹. Тогда же стимул для размышлений дал мне американский разносторонний литератор Гаррисон Солсбери. Мы с ним сопредседательствовали на последней встрече советских и американских писателей, он подарил мне свою книгу о Ленинградской блокаде, несколько страниц в книге отведено Постановлению 1946 года².

Связи у Солсбери в наших литературных кругах были давние и обширные: многоопытный американский журналист во время Отечественной войны вёл репортажи из Одессы, в 1949–1954 годах был аккредитован в Москве, знал всех, кого нужно было знать: сузу по именам тех, кому он просил меня передать приветы и просьбы, в первую очередь, Константину Симонову. Солсбери был из числа наших сочувственных противников, о чём говорит его небольшая книга “Россия” (1965), которая на общем фоне советологии выглядит прорусской. Непосредственное знание нашей страны сказывается в его романе “Врата ада”. Явление не крупное, всё же роман не изляпан соком развеистой клюквы. Под своими именами в книге фигурируют Андропов, Брежнев, Громыко, Суслов, Хрущёв, и это не карикатуры. Александр Солженицын выведен под именем “Андрей Соколов”, журнал “Новый мир” назван “Новой жизнью”, но ничего не выдуманно.

Разбирая Постановление 1946 года, в принятии которого инициативную роль играл Жданов, Солсбери опирался на публикации, близкие к первоисточникам. То была, как обычно у советологов, версия советских влиятельных лиц, близких к высшим руководящим кругам, и тем виднее в этой версии пробы и недоговоренности, однако они есть в книге не потому, что автор был недостаточно осведомлён. Солсбери излагал историю директивного Постановления так, как следовало излагать в соответствии с настроениями наших свободомыслящих, другой точки зрения как бы не существовало. Общая идея сводится к *диктату, подавляющему свободу творчества*. Разве этого не было? Было, но были обстоятельства, которые в эту версию не укладываются.

В нашей стране, по словам Солсбери, в послевоенные годы в борьбе за политическую власть начался “новый цикл”, а до литераторов, подобно толчкам от далёкого землетрясения, докатились последствия очередной схватки на самом вершине. “Оружие Жданова, — продолжает Солсбери, — обычно поражало в двух направлениях”. Одно — политические соперники, другое — “влиятельные лица в искусстве и культуре”. “Механизм манипулирования людьми по двум направлениям был очень сложен”, — подчёркивает Солсбери. Он не отвлекается на подробное описание того, как механизм действовал, но из его изложения ясно: удар по ленинградским журналам и писателям пришёлся рикошетом по ленинградским руководителям и по их покровителям, ждановским супостатам в Кремле. Причём, если в Кремле, согласно Солсбери, существовала “отвратительная сфера сталинской политики”, то, судя по его же описанию, “влиятельные лица в искусстве и литературе” составляли круг мирно сосуществующих.

О чём Солсбери не написал и о чём, очевидно, писать считалось ненужным: в творческой среде шла своя борьба — за власть в литературе. В борьбе не на стороне тех, кто подвергся критике сверху, участвовали заметные ленинградцы, скажем, Александр Григорьевич Дементьев и Фёдор Абрамов.

“Он едва ли не первым нанёс удар по сталинской лживой литературе о деревне”, — пишет ленинградский литератор Владимир Адмони, которому Фёдор Абрамов стал известен в конце 50-х годов³. Адмони не знал, что писатель, который нанёс удар по “сталинской лживой литературе о деревне”, выступал как преподаватель ЛГУ в духе сталинской литературной политики. И крестьянская трилогия Фёдора Абрамова оказалась издана не без борьбы. “Что деревня! Деревня значения не имеет”, — в разговоре с моим отцом* сказал руководитель центрального издательства. Свой рассказ об этом разговоре отец повторял, не в силах поверить, что слышал сказанное решающим, кого печатать и кого не печатать.

Литературовед Александр Григорьевич Дементьев, выступавший против “самых талантливых” (выражение Солсбери) и перешедший позднее в стан либеральных сил, стал с перемещением из Ленинграда в Москву сотрудником Института мировой литературы. Мы с ним числились в разных отделах, но заседали нередко вместе. Ленинградских разгромных “подвигов” ему не припоминали, хотя было известно, что он вёл себя в ту пору не самым мирным образом. В биографии Дементьева его критическая деятельность, проходившая в Ленинграде, не упоминается, лишь говорится, что он “переехал в Москву”. Переехал не без ленинградской драматической интермедии, на протяжении которой и при его участии развёртывалась кампания, направленная против талантливых писателей и увенчавшаяся неудовольствием со стороны властей в отношении тех же талантливых. В столице Дементьев продолжал служить, принимал посильное участие в разгромах. В Ленинграде по ходу кампании против журналов “Звезда” и “Ленинград” Александр Григорьевич громил космополитов, в Москве — националистов из журнала “Молодая гвардия”, в ИМЛИ разносил ярию правдоискателю Галине Белой (1931–2004).

С Галей мы единомышленниками не были, и моё сочувствие ей беспристрастно. Александр Григорьевич придирался к Белой, вопрошая, зачем она пишет ветвисто-иносказательно вместо того, чтобы выразиться напрямую. Что спрашивать, когда прямо написать невозможно? Александр Григорьевич требовал от Белой признания, что она — *против*, чуть ли не диссидентка. Нас всех, сотрудников ИМЛИ, в те поры вызывали в академическое издательство и требовали, чтобы мы сами убрали из наших работ *неконтролируемый подтекст*: подразумеваемый и недопустимый смысл высказанного. Саморазоблачиться Галине Белой предлагал практический руководитель печатного флагамена свободомыслия: Дементьев являлся зам. главного редактора в журнале “Новый мир”.

Рассуждая о неудовольствии наших властей по отношению к писателям, забывают застрельщиков “Невского побоища”. Ведь ни одна идеологическая операция у нас не начиналась без артиллерийской подготовки. Информация запрашивалась сверху — подавалась снизу. Мой сокорытник со школьных лет, экономист и романист Николай Шмелёв рассказывал, как его справка по экономике пылилась “наверху”, пока его предложения не сочли своевременными, и закрытая справка стала статьёй в “Новом мире”, ошеломившей призывом оздоровить безработицей нашу экономику.

Сотрудникам ИМЛИ, в том числе и мне, приходилось составлять справки, которые уходили туда же, наверх, куда в своё время поступила информация с именами Зощенко и Ахматовой. На какой бы верх справки ни уходили, это единственный жанр, в пределах которого, касаясь неприкасаемых проблем, можно было высказаться начистоту. Справки давали возможность, называя вещи своими именами, описать и определить литературное явление, а там — как хотят. Уже с началом перестройки просили ответить: признавать ли существование у нас цензуры или не признавать? Мою справку не только приняли, но через пару дней позвонили и сказали: читайте газеты! В интервью Горбачёва зарубежной прессе содержалась раскавыченная выдержка из моего реферата. Лидер перестройки признал, что, мол, цензуруем, что там говорить. А велика ли была тайна? Отвечал я на вопрос, поставленный примерно так:

* Михаил Васильевич Урнов (1909–1994) — литературовед, переводчик, редактор. Сын сельского учителя, он, не имея возможности изучить кризис сельской России, пережитый обширной крестьянской семьёй Урновых, изучал творчество Томаса Гарди, который в серии романов запечатлел кризис сельской Англии. В конце 1940-х годов исключён из Компартии и снят с работы в Издательстве иностранной литературы “за утрату политической бдительности”. В пору десталинизации обвинение признано необоснованным.

“У нас ведь есть цензура, не правда ли?” Скрывать наличие у нас орвеллианского Правдопроизводственного ведомства было невозможно. Монографии опубликованы, в основном, в США, со всеми подробностями о том, как мы цензуруем, и некоторые детали для своей “закрытой” справки я почерпнул из этих известных всему учёному миру изданий.

Отвечал я и на вопрос, не порнография ли переведённый на Западе, а у нас тогда ещё не опубликованный роман Виктора Ерофеева “Русская красавица”. И я написал: это картина нашего внутреннего разложения. Начальство покачало головой, мне было сказано в тоне упрёка: “Написал бы порнография – можно бы автора арестовать”. Невозможно было написать по той же причине, по которой некогда судья Вулси не осудил скандальный роман Джеймса Джойса “Улисс”. Повествование Джойса со всевозможными человеческими отправлениями (что приняли за порнографию) преследует серьёзную цель – такой приговор вынес Вулси. И роман “Русская красавица” не был порнографией, секс и мат служили серьёзной цели. Центральный персонаж – потаскуха, обслуживающая партийный верх и преступный низ, символизировала срез советского общества. Стилистические средства и повествовательные приёмы использованы в “Русской красавице” умело и уместно. Скажем, заборное уравниение из трех неизвестных XYZ, приведённое на страницах романа в общепонятном изложении, обрело значение символическое. Жаль, в зарубежном издании автор вычеркнул выразительный кусок. У красавицы есть подруга, тоже потаскуха, она, попав на Запад, оказалась невысокого мнения о тамошнем сексе, о чём сообщила в письме. Эту едва ли не лучшую страницу в романе автор снял в переводе, очевидно, чтобы не обижать Запад⁴.

Всё зависело от того, кто составлял такие бумаги и что там наверху хотели в них прочесть. Кого для примера проработать? Спрашивают – отвечай. И если кто-то был кому-то по личным мотивам негоден, почему не воспользоваться случаем? В накалённой страстями обстановке кто-то и подбросил имя Ахматовой, вычитав в работах Виктора Максимовича Жирмунского и Бориса Михайловича Эйхенбаума отзывы о ней с употреблением слова “блудница”. Сверху могли справку вернуть, да ещё и наказать за такие, с позволения сказать, изыскания, но, видно, нашли, что годится.

Если нам нужен ответ на вопрос, а не очередной самообман, необходимо добраться до изначальных науськиваний. Кто хотел досадить Ахматовой или Зощенко, кто подкинул выдержки из старой рецензии на её стихи? Называть имена необязательно. Решили же ирландцы не упоминать виновников междоусобной бойни 1969 года, однако выяснили, что кровопролитие было делом подстрекателей. Не надо называть имён, но не надо и на власть сваливать. Представлять дело так, будто всеильный Жданов читал: “Я бежала, перил не касаясь”, – и скрежетал в ярости зубами: “Ну, я этой б... покажу!” – означает подходить к вопросу без учёта тогдашних условий, когда поступила наверх информация о лирике Анны Ахматовой, а также сатире Михаила Зощенко в ответ на задание выяснить, не подгнило ли что-нибудь в нашем коммунистическом королевстве, поскольку есть мнение, что пора кому-то сыпать. Как же, говорят, давно пора! Почитайте, что пишут чрезмерно тонкие лирики и слишком острые сатирики! Кому было нужно, тот и навёл. Кто? Пока ответить можно лишь в общем виде, типологически.

Кто завидовал ахматовской славе, кто считал, что значение Ахматовой завышено? Писатель Дмитрий Жуков, мой приятель, играл на бильярде с поэтом, который приписал себе ахматовские строки. Жуков рассказывал, что поэт *просто по забывчивости* принял стихи Ахматовой за свои: разница оказалась ему незаметной. Кому-то из составивших справку, возможно, претила ахматовская склонность, о которой знали, но публично не говорили. Отец поразился, когда его давний знакомый, Л. З. Копелев, живший интересами литературной среды, сказал ему об этом. Приезжая в Москву, Ахматова останавливалась в Замоскворечье, пять минут ходу от нашего дома. И вот как-то вечером отец вышел пройтись и встретил Льва Зиновьевича. “Ты откуда? – От королевы! – ??? – У нас одна королева – Анна Андреевна”. И, слово за словом, выяснилось, что королева нашей поэзии – “Сафо с Лесбоса”. Склонность Ахматовой, караемая по советским законам, считалась преступной и наказывалась, а у кого-то не считалась и не наказывалась. За одни и те же грехи преследовали и не преследовали. “Бросьте вашу бздительность!” – говорил академик Леонтович во всеуслышанье в пору борьбы за бдительность,

в издательстве иностранной литературы он курировал научную редакцию. И ничего — не трогали, а заведующего редакцией художественной литературы, моего отца, тронули за утрату той же “бздительности”. Власти были непоследовательны? Властям подсказали, кого тронуть, и я знаю тех, кто подсказал. Мне хотелось бы думать, что Сталину пришла в голову мысль снять с ответственной должности моего отца. Нет, того хотел сотрудник, находившийся в кабинете рядом, по тому же коридору. Сотрудника, приходя на работу к отцу, я видел. У него был повреждён глаз, и казался он одноглазым, но мне, мальчишке, было не разглядеть горевший у него в здоровом глазу огонь зависти.

Кто-то из переживших блокаду не прощал Ахматовой эвакуации, и даже не ей, а тем из её неумеренных поклонников, которые чересчур превозносили написанное ею во время войны трогательное, но краткое и несколько книжное стихотворение. Нашли “мужество”! Так могли думать раздражённые ахматовским “мужеством” издавека. Твори Ахматова те же стихи, за которые её проработали, твори — и только, она и не попала бы под удар, но её возвели в Королевы поэзии, то было делом рук непосредственного окружения, превознесению Ахматовой и воспротивились.

А Зоценко за что пострадал? Читая представленный материал о травле Ахматовой и Зоценко, я посоветовал публикатору выяснить, кого, в свою очередь, травил “затравленный”. “Кого же мог травить тишайший Михаил Михайлович?” — спрашивает дотошный изыскатель. Для кого тишайший, а кому ненавистный — был секретарём правления Ленинградского отделения Союза писателей, поддерживал “своих”, а кого не поддерживал, те и отомстили.

* * *

Даже если Берлин и чувствовал отвращение к многосложному обману, который сам же описал, то своих чувств он не выдал.

Ф. С. Сондерс. Холодная война в культуре. ЦРУ и мир искусств. Нью-Йорк: Издательство “Нью-Пресс”, 1999.

Немало написано о предыстории ленинградского разгрома, а началось, как известно, с визита к Ахматовой атташе британского посольства. Он же философ, который будет удостоен высокого сословного звания сэра Исайя Берлин. Однако оттенки и обстоятельства дипломатического демарша высвечены с недостаточной яркостью и даже вовсе не отмечены, написанное до сих пор об ахматовском инциденте, по-моему, не имеет отношения к смыслу совершившегося. Последний, попавший в поле моего зрения, пример — биография Берлина, автор — американско-канадский поэт с русской фамилией, Михаил Игнатъев, для него казус *Ахматова-Берлин* — “история любви”⁵. Спросил я русского по происхождению американского историка, что он думает о походе Берлина, и получил ответ: “Сэр Исайя поступил неосторожно”. И необдуманно?

Общепринятая версия такова: интересующийся русской поэзией английский дипломат и преданный поэзии наш литературовед посетили поэтессу. Но дипломат-философ по должности был едва ли не в штатском, а наш литературовед проявил смелость неправдоподобную. Был или не был и он в штатском, но без санкции подобный шаг мог совершить только безумец. Берлин спутника не назвал. “К Ахматовой Берлина привёл Наум Яковлевич Берковский”, — слышал я в Институте мировой литературы. Берковского я встречал, он не производил впечатления человека неуравновешенного. Теперь считается, что спутником Берлина был Владимир Николаевич Орлов. С ним я знаком не был, но от Сергея Небольсина, который работал над архивом Александра Блока, слышал, что Владимир Николаевич не по указке цензуры, а самовольно, проводя групповую политику, делал купюры в записных книжках поэта.

Кто бы ни был спутник Берлина, пострадал ли он? Сэр Исайя подчёркивает — нет⁶. Ходил ли наш литературовед в штатском? Пока выясняют, бросим на ситуацию ретроспективный взгляд: послевоенный, послеблокадный Ленинград, иностранец и советский гражданин пришли в гости к советской гражданке,

засиделись далеко за полночь. Затем произошло ещё нечто, только упоминаемое, а иногда и не упомянутое в описаниях исторического визита. Вдруг под утро со двора раздался крик на иностранном языке. Вспоминая о визите Берлина и его последствиях, не обращали специального внимания на пьяного иностранца, кричавшего под окнами Ахматовой, хотя Берлин назвал его — сын Черчилля. Неосторожным назвал ночной визит Берлина мой американский собеседник-историк. Было ли хулиганство Черчилля-фиса необдуманной выходкой? Если Черчилль-младший стал разыскивать своего атташе по ночному Ленинграду, то как же он догадался, где в три часа ночи в чужом городе находится его служивый соотечественник? Берлин этого не объясняет, уподобляя Рэндольфа Черчилля “подвыпившему студенту”: дескать, загулял молодой человек. Однако биограф сына нашего бывшего союзника освещает поведение правительства отпрыска иначе. Вёл себя Рэндольф во время поездки в Советский Союз нагло-развязно, нарочито-оскорбительно, и то был пролог к выступлению Черчилля-старшего: в горячей войне свою роль русские союзники выполнили и начинается с ними, как с противниками, холодная, идеологическая война⁷.

Было или нет ночное явление сюрпризом для Берлина, вопль оказался неожиданностью для русского свидетеля. Как только раздался крик, пишет Берлин, его спутник замер. Ещё бы! И объяснять не нужно, даже если участие нашего литературоведа в посещении Ахматовой являлось санкционированным.

Вместо пережёвывания Постановления сообщили бы факты. Рассказали бы народу, как было, не больше того, что изложил в своих мемуарах Берлин: пришли, побеседовали, ночная беседа затянулась далеко за полночь и оказалась прервана криком пьяного иностранца... Как отозвался бы едва оживший Ленинград и вся изуродованная войной страна? Спросил я в ИМЛИ сотрудницу, изучавшую творчество Ахматовой. В ответ — молчание, в глазах — растерянность. Не показалось бы проработочное Постановление похвалой по сравнению со всенародным осуждением?

* * *

Берлин чувствовал себя, как дома, в среде русской интеллигенции девятнадцатого века и на лекциях говорил о них в настоящем времени, придавая своим суждениям оттенок светских сплетен.

Engerman D. C. Know your enemy: The rise and fall of the America's Soviet experts. N. Y.: Oxford university press, 2009. XII, 459 p.: ill. Опубликовано в сборнике: Труды по россиеведению / Редкол.: И. И. Глебова (гл. ред.) и др. М.: 2012. Вып. 4. С. 401—409.

Зато с точки зрения британского атташе, поход к Ахматовой удался на славу. Берлин тут же сообщил о своём успехе в Форин Оффис. “Я писал, — говорит он, однако, не цитируя, а реферируя самого себя, — что каковы бы ни были причины, врождённая ли неспорченность вкуса или же насильственное отторжение пошлятины и дешёвки в литературе, каковые могли бы испортить этот вкус, но факт остаётся фактом, что в наше время, возможно, ни в одной другой стране классическая и современная поэзия не расходится в таких количествах и не читается с такой жадностью, как в Советском Союзе, и это обстоятельство не может не являться побудительным стимулом как для критиков, так и для поэтов. Далее я писал, что созданная силой указанных обстоятельств читательская среда способна вызвать лишь зависть у западных прозаиков, поэтов и драматургов. И если бы силой некоего чужда политический контроль сверху оказался ослаблен и была предоставлена большая свобода творческого выражения, то не было бы причин, в силу ко-

горых в обществе, а столь ценящем творческую активность, в стране, столь жelaющей воспринять как можно больше, столь юной и столь легко поддающейся очарованию всем, что кажется неведомым и даже истинным, и сверх того, в обществе, одарённом энергией, способном сорвать любые повязки с глаз, отвергнуть глупости, преступления и несчастья, способные погубить менее богатую культуру, великолепное истинно-творческое искусство не могло бы не быть вновь вызвано к жизни; что контраст между жадным интересом ко всему, что содержит какие-то признаки жизнеспособности по сравнению с мертвящей продукцией, производимой официально-одобренными писателями и композиторами, есть, возможно, самая поразительная черта советской культуры наших дней”⁸.

Суждения Берлина, согласитесь, трогательны, особенно в сравнении с политическим хулиганством Черчилля-младшего. Атташе-философ проявляет заботу о расцвете у нас искусства и литературы, докладывая по службе, что возможности на нашей почве безграничны. Если творческие силы пробиваются из-под гнёта, что же будет с приходом свободы? А ни в чём, кроме роста наших творческих сил, не были заинтересованы наши бывшие союзники, они мечтали увидеть Россию могучей и процветающей, о чём и сейчас мечтают.

Составленную им бумагу Берлин не приводит целиком и даже не цитирует, но указывает шифр, по которому в дипломатических архивах важный документ можно найти, чтобы убедиться, насколько пересказ соответствует букве самого документа. Исследователи этого ещё не сделали. Не сделал даже Роман Тименчик, автор фундаментальных трудов об Ахматовой. По Тименчику, вокруг Ахматовой с одной (советской) стороны крутились соглядатаи, а с другой (зарубежной) окружали её любители поэзии. Так, рецензируя книгу Михаила Игнатьева, в своём эссе ситуацию описал и Дэвид Брукс: поэзия и любовь с одной стороны, полицейские меры — с другой⁹. Но Ахматову (сообщает Тименчик) Берлин не только посетил, он опубликовал её стихи в международном журнале, который он курировал. Думал ли куратор, зачем после политического скандала, вызванного его посещением Ахматовой, он печатает её стихи? Или так просто, из чистой любви и без малейшей задней мысли тиснул по неосторожности?

Было бы важно посмотреть, что же у Берлина в досье сказано, что выражено словами и что осталось между строк, всего лишь подразумевается, но само собой следует из сказанного. На мой взгляд, там должна следовать рекомендация: после инцидента с Ахматовой учесть роль литературы в СССР.

* * *

Как указал сэр Исая Берлин...

В зеркале советской литературы.
Под ред. Эрнеста Симмонса.

Благодаря усилиям советологов, на Западе поняли, о чём когда-то говорил князь Кропоткин: оказать сопротивление идеологическому промыванию мозгов другого средства, кроме художественных образов, у русской публики нет. Поэты выражают образами то, что прямо сказать нельзя. И стали зарубежные эксперты в наше образное мышление пристально всматриваться, выискивая, что сказывается в образах даже маловысокохудожественных, если употребить выражение Зоценко. А наши власти тоже проявляли большое внимание к образному языку. Провозгласил же Евтущенко: “Поэт в России — больше, чем поэт”. Больше или меньше, чем поэт, а всё же умами владеет, за ним нужен глаз да глаз. И чтобы даже окольным путём, метафорически не проговаривались поэты чересчур, за ними присматривали литературные операторы на все случаи, как Александр Григорьевич Дементьев.

Высокообразованному зарубежному любителю поэзии трудно было такого внимания не заметить. Оставалось лишь проверить: а что, если советскому поэту оказать фавор извне, последует ли болезненная реакция на высшем уровне? Проверили, посетив Ахматову, — получилось. Сэр Исая экспериментально подтвердил важнейшее открытие советологии и на деле своим неосторожным визитом показал, какую огромную роль в нашей стране играет литература, насколько у нас даже большой поэт ещё больше, чем поэт. Надо бы

этому феномену дать имя его открывшего – “эффект Берлина”. С тех пор тот же трюк будет удаваться безотказно, как поворот рукоятки хорошо отлаженного механизма: внимание Запада – неудовольствие советских властей. Снова и снова, похоже на менуэт, исполняемый заводными фигурками, и у каждой – своя заученная роль.

Если я увижусь с профессором Симмонсом на том свете, а ждать встречи осталось недолго, то на его вопрос о производстве мучеников я ему дам ответ, сложившийся у меня с тех пор, как мы с ним беседовали на эту жгучую тему: мученики у нас делались как по заказу, автоматически, в силу действия механизма, пущенного в ход, оставалось подбрасывать горючий материал, и возгорался костёр, поглощавший ещё одного мученика или мученицу, а вокруг костра ходил по свету хоровод, защищая или оплакивая жертву произвола и насилия.

* * *

...Шли телеграммы зарубежных издательств из Лондона, Парижа, Стокгольма, Токио. Всем хотелось получить права на роман “Тайшет 303”.

Из романа Гаррисона Солсберри “Врата ада”. Нью-Йорк: Издательство “Рэндом Хаус”, 1975.

От общих знакомых я узнал, что Берлин хотел бы ознакомиться с моим выступлением об Ахматовой в швейцарском посольстве. До него, видно, дошли сведения неполные и противоречивые. Присутствовала на лекции сотрудница Библиотеки Конгресса, изложенная мной точка зрения – “Что без страданий жизнь поэта!” – ей показалась “типично русской” и неубедительной. Мне было замечено: “А как же Элизабет Браунинг?” Но Элизабет Браунинг ведь тоже страдала, однако её страдания ограничены частной сферой, на её долю не выпадало ничего подобного, что довелось испытать Ахматовой, не создала Элизабет Браунинг, обладая искусством версификации, и стихов, сделавших русскую поэтессу всемирно известной мученицей.

Пришедшие меня послушать американцы жаловались, будто я говорил чересчур громко, и у них, привыкших к полутонам, заболели барабанные перепонки, тем более, что услышали они не совсем то, что желали услышать. Читая лекцию, я высказал свои соображения о визите Берлина к Ахматовой. “Так говорить о Берлине может лишь объятый бериевской шпиономанией”, – сказал мне пришедший на мою лекцию университетский профессор. А Берлин, естественно, мог полагать, что в любом суждении о судьбе Ахматовой не окажется пропущен связанный с ним ленинградский эпизод, и, конечно же, не ошибался.

Жил Берлин в Оксфорде. Несмотря на возданные ему официальные почести, академическая среда его не принимала. Учёные сморчки, оторванные от современности! Консерваторы! Зато вокруг него сложилась своя клика, с его почитателем мы работали в университете, с ним я и послал в Англию свой текст. Пока дождался я okazji, миновало два-три года, но, мне казалось, чуть ли не на другой день открываю газету: скончался Исая Берлин! Был ли я недостаточно или чересчур отзывчив?

II Дело о Джойсе

*Время, оставшееся с нами.
Сборник студенческих
воспоминаний.*

Как у нас звучит имя Джеймса Джойса теперь, не представляю. Наше поколение не читало его романа “Улисс”, а если о Джойсе говорили, то осторожно и даже с опаской: один из запретных плодов. Пока судья Вулси не реабилитировал книгу в 1934 году, нелегально вышедший в 1923 году “Улисс” оставался не

допущен к чтению и на Западе. В середине тридцатых годов и у нас начали печатать перевод романа. Взяться за эту работу молодые переводчики, которых называли “кашкинцами” по имени их старшего, Ивана Кашкина. Печатали в “Интернациональной литературе” по главам и, прежде чем печатание прекратилось, успели поместить примерно треть всего текста. У моего отца хранились старые комплекты журнала, и мне удалось хотя бы частично прочесть роман.

Такое творение, как “Улисс”, можно назвать *тур-де-форсом* (*tour de force*, франц.) — дерзновенным посягательством на решение задачи чрезвычайной сложности. Эпическое повествование Джойс втиснул в один день, из многоликой толпы персонажей сосредоточился только на трёх, воспроизвёл работу их сознания от размышлений о “Гамлете” до заботы о пищеварении и прочих потребностях человеческого организма (что и скандализовало читателей). Роман Джойса — грандиозная и сложная конструкция, подобие Вавилонской башни, вместительца всех языков. В романной постройке использованы всевозможные стили и повествовательные приёмы — и поток сознания, и летописная хроникальность. Всё происходит как бы на фоне мифов, богов и героев, показывая, с чего началось и куда пришло — к полнейшей дегероизации. Нашей критикой “Улисс” был расценен как историософия фашизма, перевод “Улисса” прекратили печатать, Джойса упоминали как нечто нам чуждое.

Высказаться о Джойсе я попробовал на четвёртом курсе филологического факультета МГУ в 1957 году на семинаре профессора В. В. И. Начитанностью в английской литературе В. В. удивила даже Чарльза Сноу. Было чему у неё поучиться, и я считал себя её учеником, однако В. В. пожаловалась декану и завкафедрой, профессору Самарину Роману Михайловичу, когда я, по её мнению, преувеличил влияние Джойса на Грэма Грина, о котором у неё в семинаре писал курсовую. Самарин меня вызвал: “Улисса” прочитали?” Читал ли я Джойса? Ведь чуть ли не каждый зарубежный писатель видит в нём образец! “Ну, идите, — говорит Роман, — а то старушка всполошилась”. Лет десять спустя свидетели столкновения бывшие мои сокурсники, совместно со “старушкой”, которая помолодела душой, принялись защищать от меня Джойса.

Во времена *борьбы за Джойса*, которого не допускали, я был им одержим настолько, что был уверен: *прорыв*. В то время, когда было написано: *тулик*. Это — в автобиографии Пристли, где он рассуждает об “Улиссе” и говорит *cul-de-sac*. Не заглянув во французский словарь, я понёс свой перевод в редакцию, там мне поверили, так и напечатали: *прорыв*. Посыпались возмущённые письма знающих читателей. Но всё равно нераскаянный, я верил (и верю), что Джойс совершил-таки прорыв. Хемингуэй, принимавший участие в издании “Улисса”, сказал: “*Вся жизнь, без изъятий и умолчаний, стала предметом литературы*”. Поколение Хемингуэй, ровесники XX века, успели испытать ограничения на себе, их захватил предшествующий век викторианства, когда *книга не должна была вызывать краску стыда на щеках молоденькой девушки*. Какой том у пушкинской Татьяны Лариной дремал в тайнике под подушкой? Роман предыдущего, *осмнадцатого столетия*, а девятнадцатый век уже был полон ханжескими запретами. Положим, благодаря запретам необычайной развилась повествовательная техника, изощрившаяся в обход запретов, но многих сторон жизни всё же нельзя было коснуться, поэтому “Улисс” и знаменовал прорыв.

“Прочти же, что о Джойсе писал Олдингтон!” — советовал мне отец, имея в виду известного английского писателя, с которым у него была переписка. Уговорил я отца в его очередное письмо Олдингтону вставить для убедительности мнение коллективное: “Мой сын и его друзья убеждены в значении Джойса”. Олдингтон ответил: “Ваш сын и его друзья правы...” Дальше я уже не читал, রাখивая письмом, словно эскалибуром — мечом короля Артура.

Когда Джойс по мере относительных послаблений в защите уже не нуждался, пришлось восстать против него и его влияния: “Улисс”, в самом деле, *тулик*. Понял я, что имел в виду Пристли. А Литвинова Айви Вальтеровна, вдова наркома и соплеменница Джойса, мне рассказала, как она пожаловалась ему: “Вашу книгу трудно читать!” — и получила ответ: “Писать было трудно”.

В зарубежной критике, я видел, довод писать нелегко взят на вооружение поклонниками Джойса: читая, потрудитесь заодно с писателем. Уравнение “трудно писать — трудно читать” оказалось принято и возвеличено, как если бы зрителям в цирке предложили ходить по проволоке, чтобы оценить искусство канатоходца.

В романе Джойса попадаются изумительные эпизоды, и нетрудно установить, что романа от начала и до конца не прочли даже литературные авторитеты, судили по эпизодам, однако читателей запугивали, требуя от них восхищения тем, *чего в тексте не было*, — увлекательным повествованием. Первый акт запугивания — появившаяся, как только роман был издан, статья Т. С. Элиота. Считавшийся *литературным диктатором* Элиот утверждал: от чтения “Улисса” он получил не что иное, как удовольствие. Прочёл ли он роман, неизвестно, зато Великий Том (так называли Элиота) объяснил, как эту трудную для чтения книгу *понимать*. Своего понимания Элиот не изложил, он обычно в своих критических высказываниях как бы распоряжался, давая указания, как следует думать, не затрудняя себя доказательствами, почему, собственно, так следует? Рассуждая об “Улиссе”, Элиот настаивал на *понимании*. Будто искушенные читатели чего-то не понимали! Если не понимали, то лишь одного: зачем писать так, чтобы трудно было читать? Понимать можно и нужно любой текст, однако чтение увлекательной художественной литературы рождает понимание особое. Чтение увлекает читателя до забвения самого себя, а уж затем, одумавшись, читатель, если захочет, может и подумать над тем, что же он, читая, проглотил, не раздумывая. Элиот предложил *понимать “Улисса”*, как бы разгадывая ребус: вместо удовольствия от чтения удовлетвориться *пониманием значения*. Элиотовское понимание было принято за норму, требование труда от читателя стало обязательным. Если автор не добился увлекательности, даже признавая это недостатком, его тут же оправдывали: “Бывают недостатки лучше иных достоинств”.

В студенческие годы я не прочёл всего “Улисса”, читал кусками, вчитываясь в эпизоды, эти страницы потрясли меня. Удивительный словесный рисовальщик, Джойс делал изумительные по выразительности наброски психических состояний. “Моё детство склонилось рядом со мной” или “Она поцеловала меня... Меня... Неужели и теперь это — я?..” Читал, перечитывал — сердце замирало. Умри литература — лучше уже не напишут!

Каким талантом действительно одарён Джойс, даёт представление его короткий рассказ “После гонок”. В рассказе — семь страниц, и вроде бы не происходит ровно ничего. Молодые люди после автогонок провели бессонную ночь и встретили восход солнца, только и всего, а на читателя дохнуло утренней свежестью и молодостью.

Казалось, если бы Джойс, при его способности запечатлеть движение мысли и чувства, оказался наделён ещё и дарованием повествователя, то литература достигла бы предела. Но писатель, способный создать поразительный эпизод, был лишён способности повествовать. Страницами — озарения, в целом — мертво и потому неудобочитаемо.

В этом убеждении меня укрепило чтение книги Квини Ливис “Литература и читающая публика”. Квини Ливис говорила о радикальном разобщении новейших читательских вкусов: если прежде все читающие зачитывались “Приключениями Робинзона Крузо” и “Посмертными записками Пиквикского клуба”, то в 1920-х годах одни называли шедевром “Улисса”, другие были захвачены романом Аниты Лоос “Джентльмены предпочитают блондинок”. Тогда я ещё не читал романа Аниты Лоос и понял противопоставление так: истинная литература и поделка. Когда же “Джентльмены предпочитают блондинок” я прочёл, оказалось, что это совсем не поделка: умно, умело и занимательно. Если бы у Джойса было повествовательное дарование Аниты Лоос... Однако у рисовальщика — не рассказчика! — такого дарования не было, Джойс в самоутверждении упорствовал, доказывая себе, что он силен в том, в чём не силен, и это Джойсу удалось при сочувственной поддержке читающей публики.

Так началось и так продолжалось. Была произведена переоценка литературных величин, из настоящего и прошлого стали избирать образцы “трудной” прозы и “трудной” поэзии. Некогда поставленное на второстепенное место выдвинулось вперёд. То и другое существовало всегда, разумелось само собой: были и есть значительные (по содержанию) авторы, которые умны, серьёзны, умелы, но, увы, бездарны. Однако эта иерархия постепенно перестраивалась: достоинства усматривались в том, что не считалось достоинством. “Все жанры хороши, кроме скучного”, — говорил Вольтер. Вопреки вольтеровской поговорке, скучное объявили занимательным, *если его понять*. Находили достоинства, каких и не было: “умеет рассказывать”, *когда именно это-то и не умеет*. Литературный парадокс нашего времени: небольшие писатели

талантливый, большие – бездарны соразмерно с задачами, которые берутся решать, они ставят и пытаются решить серьёзные проблемы, но их решения неудачны творчески.

Проблема мне представлялась необычайно злободневной: то и дело критический пересмотр сводился к оправданию неудачи. Поставленный в западной литературе на первое место в ряду важнейших произведений XX века, “Улисс” служил образцом тому, что производилось в дальнейшем с помощью романа Джойса “в качестве повивальной бабки” (о чём и писал Олдингтон). Неудобочитаемость стала признаком содержательности и мастерства. Писатели тянут, как Джойс, рассудочную словесную вязь, выстраивают мертворождённые конструкции, а критики находят себе занятие, анализируя плетёные слова и замысловатые построения.

“Писать, чтобы читали!” – девиз Диккенса, та же цель, какими бы средствами ни достигалась, должна преследоваться и другими писателями. Если же читателям передоверяется “дописывать” то, чего сам автор не написал, значит, требовать от читателя усилий не по чину. Можно и нужно новаторствовать, делая всё по-другому, но – делая! Рассказывайте по-своему, но рассказывайте, новаторское произведение должно в преображённом виде содержать традиционные составные повествования, делая непонятное понятным, скуку – занимательной. Если же непонятное так и остаётся непонятым (что признаётся истолкователями неудобочитаемого), а скука остаётся скучна, тогда это не искусство, а какой-то другой род деятельности.

Мой тезис о неудобочитаемости наиболее значительной современной литературы частично приняла Ирина Роднянская, но возразила: “Это и есть литература”¹⁰. “Разве трудночитаемое не прочитано и даже не перечитано?” – спрашивали мои оппоненты. Вопрос: кем? Необычайно разросшейся специализированной аудиторией. Исчисляемая десятками и даже сотнями тысяч, эта аудитория количественно почти неотличима от читающей публики. Ежегодная конференция Ассоциации современной словесности (MLA) собирает до 10 000 (десяти тысяч) участников, в Америке свыше полутора тысяч университетов, в каждом – кафедра словесности, и каждый студент должен приобрести книгу, указанную в списке обязательного чтения. Написанный под влиянием “Улисса” постмодернистский роман Томаса Пинчона “Радуга земного притяжения” включён в учебные программы, хотя непонятность романа признана даже апологетами Пинчона. Так и сказано: да, непонятно, однако всё равно предлагается понимать и восхищаться. Читал я ранние и вполне понятные произведения Томаса Пинчона: заурядно. В крупнейшие современные писатели Пинчон выбился по другой шкале, как выбивались в гении художники-авангардисты скромных традиционных способностей. Между тем разномыслившийся “наш брат” литературовед, он же преподаватель, внушает студентам необходимость потрудиться. Я же присоединяюсь к тем, кто спрос на “труднодоступную” литературу считает потреблением навязываемым, подобно любым товарам в обществе потребления. Когда первичная битва в борьбе за Джойса была выиграна, я повёл борьбу против Джойса. Собственно, я всего лишь подписался под приговором, который ещё в молодости Джойс услышал от старого ирландского поэта: “Нет у тебя достаточно хаоса в душе, чтобы создать целый мир”. Населить “целый мир под переплётом”, как он того хотел, Джойс не смог. Присоединившись к этому мнению, я очутился в хвосте очереди, где когда-то стоял одним из первых: от меня взялись защищать Джойса те, кто некогда за сочувственный к нему интерес критиковали меня же.

* * *

Пикассо уже имеет тысячи, а я ещё не получил ничего.

Джеймс Джойс.

Оказались мы с моей бывшей наставницей в конфликте, когда оба сменили вехи. В то время вместо покойного Самарина заведующим кафедрой зарубежной литературы стал Леонид Григорьевич Андреев. Он пригласил меня прочитать спецкурс “Соотношение теории и практики творчества, критики и литературы”.

Новейшее теоретизирование есть оправдание бездарности – таков был мой тезис. Говорить я собирался о том, что происходило на Западе, где торжествовала Критика с большой буквы, подмявшая под себя литературу и превратившая литературу в сырье для критической промышленности, а литература подстраивалась под критерии Критики. Тезисы обсуждались на кафедре. “Такие лекции принесут нашим студентам вред”, – сказала В. В., некогда объявившая меня безумцем, едва я заговорил о Джойсе. Андреев не дрогнул, курс я прочитал – в его присутствии. Леонид Григорьевич нашёл время посещать мои лекции, чтобы не дать распространиться ложным слухам.

* * *

Джойс, Джемс (1882–1941) — английский писатель. Представитель реакционной литературной школы.

Большая советская энциклопедия. М.: Государственное научное издательство “Большая советская энциклопедия”, 2-е изд., 1952. Т. 14. С. 231.

В России на “Улисса” обратили внимание, как только роман появился в полулегальном парижском издании, в двадцатых годах. Тогда же в нашей печати были опубликованы переводы отрывков. За этим стоял Евгений Замятин – доискалась Екатерина Гениева, будущий директор Библиотеки иностранной литературы. В 30-х годах печатание перевода “Улисса” прервалось, потому что роман был сочтён...

Причина похоронена под спудом кривотолков. Если бы не услышал я от отца о реальной причине, то вместе со всеми думал бы, как и до сих пор думают некоторые, будто печатать у нас перевод романа прекратили, потому что “Улисс” есть некий неприемлемый -изм. Да, -изм, но не модернизм, как принято думать. Мой отец знал обстановку, сложившуюся в нашей литературной среде вокруг Джойса, переводы отца появлялись в те же годы там же, в “Интернациональной литературе”, где бригада переводчиков под водительством Ивана Кашкина переводила и печатала “Улисса” с “продолжением”. Печата-ла-печатала, и вдруг продолжения не последовало – арестовали одного из переводчиков, Игоря Романовича.

Уже в 80-х годах наследник “Интерлита”, журнал “Иностранная литература” решил напечатать роман в новом переводе безвременно скончавшегося Виктора Хинкиса, довершённом Сергеем Ожеговым, и на совещании в редакции я сказал об известной мне со слов отца причине, по которой печатание романа в своё время прекратилось: *роман был сочтен антисемитским*. Принимавший участие в редакционном совещании по “Улиссу” Вячеслав Всеволодович Иванов мне возразил: “Уж если говорить об антисемитизме, то у Джойса есть эпизод с антисемитами”. Однако публикации у нас “Улисса” помешал не эпизод, речь шла не о юдофобах, изображённых Джойсом по-флорберовски, методом отстранения: объективно-выразительно. Из трёх основных персонажей романа важнейшими являются два: преподаватель истории, мятущаяся поэтическая душа, ирландец Стивен Дедалус, и обыватель, скромный служащий рекламной фирмы, еврей Леопольд Блум. “Почему же еврей поставлен в центр современного псевдозэпоса?” – с таким вопросом к Джойсу обращались читатели-современники. Вопрос понятен: тогда читали “Улисса” так, как сказано в Большой советской энциклопедии, где – знаменательно! – выделен только Блум: “В главном произведении [Джойса] – огромном романе “Улисс” – представлен один день из жизни рядового дублинца. Изображение извращенной психики мещанина, циничное копание в его грязных чувствах подчинены реакционной цели – показать человека антисоциальным и аморальным”.

“А мне Блум видится очень милым”, – возразила мне молодая американка, преподаватель литературы, для которой “Улисс” стал историей, и в дымке лет острота проблемы – реальный или кажущийся антисемитизм романа – стала незаметной. А преподавательница, дипломированный специалист, которой думалось, что Леопольд Блум просто симпатичен, не собиралась в проблему всматриваться, она, подозреваю, цитировала без кавычек книгу книг о Джойсе,

его биографию, написанную Ричардом Элманом, евреем. У Элмана сказано: Джайс хотел изобразить “милого еврея”¹¹.

Сказано справедливо, но изобразить нечто “милое” после Флобера, читанного Джайсом и оказавшего на него влияние, не означает умилиться. Джайс не юдофоб, он – флоберист. “Простое сердце” Флобера – образец повествовательной объективности: привязанность к попуугаю, конечно, трогательна, но при ближайшем рассмотрении оказывается вот что: такая пламенная любовь “простых сердец” – чувство почти животное. Джайс, присматриваясь к Леопольду Блуму, передавая всевозможные оттенки его поведения и облика, предлагал читателям сделать выводы, а читатели – не простаки, читали так, как написано, изобразительно-объективно: “милый еврей” – средний человек. Но почему же выставлен мировой посредственностью не Том Смит или Джон Браун, а Лёва Блум?!

Рекламный агент в “Улиссе”, конечно, не зловещий иудей, укрыватель краденого из “Приключений Оливера Твиста”, но действительно, по авторскому замыслу, тот самый, оказавшийся результатом мировой истории мещанин. Джайс не хотел сказать, как Достоевский, будто “наступает царство жидов”, однако массовое измельчение свёл к еврею. Если перевести замысел “Улисса” на язык консервативной историософии, а Джайс был в ней начитан, то в романе ставился тот же вопрос, что ставили со времён Вальтера Скотта и дальше через Карлайля, Джона Стюарта Милля к Герцену, Константину Леонтьеву и, наконец, к Александру Кожеву, который в российской обработке вывез на Запад гегелевскую идею “конца истории”. Вопрос, который все они ставили: что же выходит? Великие люди бросали жребий и пересекали Рубикон, переходили Альпы, одерживали грандиозные победы, терпели героические поражения, ценой большой крови совершали эпохальные перевороты, и всё ради благополучия обывательской заурядности? Стоило ли ценой огромных жертв творить грандиозные дела, чтобы некий Блум благодушествовал и, как картинно изображено в “Улиссе”, с аппетитом кушал за завтраком, “употребляя в пищу внутренние органы животных и птиц”?

К чему пришёл мир – в этом суть продуманного, старательно выстроенного, пусть мертворождённого, повествования. “Грядёт всякий и каждый”, рассуждая о “Гамлете”, пускает слюну, подглядывая на пляже за девочками, не просто ест, а, выражаясь по-культурному, “употребляет в пищу”. Однако теперь, объявив “Улисса” “романом века”, эту новейшую “Войну мышей и лягушек” толкуют шиворот-навыворот: “Улисс”, оказывается, не иерокомический, а героический эпос. В похоронном тексте прочли гимн человечности. Джайс, по его словам, собирался дать своим истолкователям работу надолго, однако в пределах своего замысла. “Улисс” – последнее слово литературы, сказанное мучеником творчества, но обладавшим гением для воплощения замысла, но восполнившим его нехватку посильной сознательностью ради того, чтобы изобразить плачевный *итог истории*. Этот сверхсознательно подведённый автором “Улисса” пессимистический итог перетолковали на свой лад как залог светлого будущего.

У меня на глазах поучительное зрелище развернулось у дверей публичной библиотеки университетского города Беркли. Там учредили прекрасную традицию: возле библиотеки на улице добровольцы вызываются и через микрофон читают отрывки из классики, а прохожие останавливаются и слушают. Как-то иду и слышу: “Улисса” читают. Но как? Джайс был предельно сознателен, нынешние читатели, похоже, не сознавали, что же они читают. Читали заключительные страницы романа, внутренний монолог третьего важного лица в романе – супруги “милого еврея”, ирландки Молли-Мэрион. Человеческая самка, как характеризовал её Мирский, существует на уровне инстинктов, наставляя мужу рога. Таковы библейских времён Адам и Ева в конце истории: он – воплощение пошлости, обыватель, запомнивший несколько учёных слов, смысл которых понимает не до конца, она – обыкновенная похотливая баба, сейчас бы сказали, сексуально озабоченная. Но любители художественного слова не чувствовали иронии, исповедь пусть не потаскухи, но всё же особы *непримерного поведения*, читали, будто прощальное обращение Джорджа Вашингтона к войскам.

Подобно моей собеседнице, постаравшейся не понять, почему “милый еврей” Джайса обеспокоил и просто возмутил современников, чтецы, возможно, были тоже знакомы с биографической книгой Элмана и следовали его

тоolkованию внутреннего монолога неверной супруги, а толкование являлось перетолкованием, сглаживало смысловые углы. Готовность добровольной давалки, говорящей “ДА” (sic!) каждому желающему посягнуть на её невинность, биограф Джойса решил истолковать как манифест человекоутверждения и предвестие будущего.

У Джойса нет никакого будущего, кроме измельчания, омассовления и вульгаризации. Ничего иного автор “Улисса” в современном мире не видел и на будущее не предсказывал. Но книга Элмана – тоже своего рода тур-де-форс, обширнейший источник сведений – в то же время решает принципиальные проблемы хорошо известным нам способом – уходом от вопроса и неназванием вещей своими именами. Где у Джойса представлена пошлость, там биограф видел человечность. А читатели-современники, понимая, что в “Улиссе” всё неспроста, спрашивали у автора романа, зачем в массовидной толпе, им обозначенной, на первом плане поставлен еврей? Тревога отвечала духу времени: вскоре начнётся решение “еврейского вопроса”. Вот почему понимающие современники, чувствуя, что в воздухе пахнет грозой, были смущены “милым евреем”, поставленным в средоточие современной гоббсовой схватки. Джойс, им казалось, – это один из умов, изощрённых и незаурядных, однако обессилевших в поисках решений насущных проблем эпохи и склонных за решением обратиться к патриархальной идее порядка в духе почвеннического фундаментализма, принявшего в XX веке форму национал-социализма. В “Интернациональной литературе” появилась статья Миллер-Будницкой, она с пониманием определила “философию истории и культуры Джойса” как безысходно-пессимистическую, неприемлемую для непоклонников Шпенглера. Но определить значило обвинить. Роман прикрыли. Романовича арестовали.

Стало быть, печатанье “Улисса” у нас прервалось, потому что арестовали одного из переводчиков? Не потому, а после... Назвать перевод причиной ареста или арестом объяснить остановку перевода отец не решался. Не могла поставить эти два события в связь и переводчица Елена Сергеевна Романова, тоже печатавшаяся в “Интерлите”, мало того, её подпись как ответственного работника Иностранной комиссии Союза писателей стояла под адресованным Джойсу рекомендательным письмом для Вишневого, который ехал в Париж и собирался посетить автора “Улисса”. Знала Е. С. закулисы литературной жизни, погибшего знала, но лишь вздохнула: “Бедный Романович!”

“Его ведь арестовали из-за Джойса”, – вдова Романовича доверилась Екатерине Гениевой. Что значит “из-за”? Если в самом деле из-за Джойса как Джойса, почему же арестовали одного, когда переводили коллективно? Если же беднягу переводчика арестовали за индивидуальную, связанную с Джойсом провинность, то какую? На этот вопрос Гениевой доискаться ответа не удалось.

Иосиф Бродский, мне кажется, поторопился считать самоочевидной причину ещё одной трагической истории тех же дней – арест и гибель переводчиков антологии английской поэзии¹². И казус с “Улиссом” надо выяснять, конкретизируя: кто и что решил, кто заклеил и кто запретил. С тех пор Джойс и “Улисс” стали у нас табу. Антисемитизм как причину не называли. Не называли, возможно, те же люди, что, вслух рассуждая о причинах запрета, под сурдинку объявляли запрет “Улисса” актом закручивания гаек. Они же говорили о том, что Джойс играет на руку фашизму. Говорили о реакционности в целом, хотя вернее было бы сказать о консерватизме: Джойс не был реакционером, его пропагандист Элиот – был. В нашей теории и практике от этого разграничения отказались, вычеркнув из нашего культурного обихода крупнейших мыслителей консервативного толка, а таковыми они были со времён Платона. Разобраться надо, кто вычёркивал. По моему убеждению, проверенному на практике, часто, очень-очень часто вычёркивали, а затем возмущались вычёркиванием не другие, а те же, одни и те же приспособленцы, они приспособлялись то к тому, то к этому, лишь бы оставаться на плаву и наверху.

Чем дальше, тем всё больше ярлыки, навешиваемые на роман Джойса, как обычно у нас бывало с ярлыками, имели всё меньше отношения к объекту, на который ярлыки навешивались. Если “Улисс” – модернизм (конечно!), то чем же неугоден модернизм? На словах – реакционность, на самом же деле модернисты считались антисемитами, тот же Джойс. Каждый, кто выражал

свое мнение о запутанной проблеме, изъяснялся не прямо, просяняя одну сторону, не просяняя другой, причём по разным причинам: то ли потому, что Джойс — антисемит (что в 30-х годах вызвало настороженность в отношении к роману), то ли потому, что он — еврей (по этой “причине” Госкомиздат вычеркнул имя Джойса из престижной серии “Литературные памятники”). Темнили те, кто слышал, что нечитанный Джойс — модернист, модернизм нам не годится, поэтому с Джойсом надо бы, само собой, бороться, но, с другой стороны, раз он запрещён, значит, замечателен и, при сочувствии запрещённому, следует протащить Джойса как реалиста, разумеется, особого, современного реалиста.

* * *

Всеволод Вишневский... оказался сильно уязвлён атакой Мирского и нанёс ответный удар, решительно возражая против отрицательного отношения к Джойсу.

Н. Корнуэлл. Джойс и Россия.
Санкт-Петербург: Издательство
“Академический проект”,
1998.

В нашей стране спор 30-х годов о Джойсе между Дмитрием Святополк-Мирским и Всеволодом Вишневским завершился, как завершались у нас все споры теоретические, — практическими оргмерами, и участник дискуссии стал жертвой репрессий. Однако поражение потерпел не тот, кто, согласно нашей логике вещей, должен был потерпеть поражение, не защитник — противник Джойса попал под удар: погиб критик Джойса-модерниста. Схватка с парадоксальным исходом занимала меня со студенческих лет и продолжала занимать, когда стал я работать в ИМЛИ, тем более, что мой отец знал Дмитрия Петровича Мирского.

В отличие от моего времени, в 30-е годы модернизма не боялись. Мирский с Вишневским модернизм называли модернизмом, они спорили о Джойсе, об одном и том же, не то что у каждого был свой Джойс, им так не виделось и не думалось, они видели и знали, что это за явление, у них не было разногласий в определениях, не было разногласий и в оценках. Из одинаковых определений и оценок они делали разные выводы. Джойс — модернист, модернизм — исторический пессимизм и философский агностицизм, с этим ни один из них не спорил. Но может ли советский писатель почерпнуть из философии исторического пессимизма нечто для себя полезное? Если верить в то, что мы строим новый мир, за которым — сияющее будущее, зачем же поддаваться страхам, что наступает вселенская ночь и мир объемлет беспросветный ужас? А Джойс был в том уверен. Спорили об отношении к очевидно неприемлемой для нас идее, но, против обычного у нас порядка, оказался поверженным не Вишневский, съездивший к Джойсу на поклон и услышавший от него вопрос, зачем же советский писатель напросился к нему, если в Советском Союзе “Улисс” запрещён? Слухи небеспочвенные, но преувеличенные. Переубедивший Джойса и переспоривший Мирского, Вишневский вернулся энтузиастом джойсизма, он говорил, что у Джойса следует учиться. А пострадал Мирский, который утверждал, что советским писателям Джойс не нужен. Как же это получилось?

Спросил я Веру Александровну Гучкову-Трейл, собиравшуюся выйти за Мирского замуж. Её ответ — это, по-моему, ключ к тайнам нашей литературной истории, один из ключей, что вручила мне судьба, вроде железнодорожной стрелки, открывающей путь переводом состава на другую линию.

“Вы думаете, Диму интересовала литература?” — вместо ответа на мой вопрос задала вопрос Вера Александровна. Простите, что же ещё могло интересовать того, кто только и занимался тем, что писал о литературе? Не словами это выразил — недоумённым взглядом. Взглядами мы обменивались, рассматривая портрет Мирского на фронтисписе наконец-то вышедшего сборника его статей. Привёз я книгу в Кембридж, где жила В. А., приехали мы туда с нашими преподавателями английского языка учить англичан русскому

и познакомился с Верой Александровной. Отдавая Гучковой книгу её несостоявшегося жениха, я ожидал, что она растрогается, а Вера Александровна усмехнулась, и услышал я от неё слова, что явились для меня откровением, обнажающим нелитературную подоплёку наших литературных дискуссий.

В наскоро написанных историях советской критики до сих пор пишут: то-то взяли за фрейдизм, этого — за поток сознания и вообще за модернизм. А от Веры Александровны вместо модернизма я услышал... Никто бы не узнал, в чём заключалась суть спора о Джойсе, не поговори со мной обладательница достоверного знания о причине гибели её жениха. “Дима хотел власти”, — твёрдо, без иронии произнесла Вера Александровна. *Willie zur Macht* — нищеанская воля к власти — была бы наследственно-естественна для сына Председателя Государственного Совета, но литератор...

Не в литературе заключалась суть спора двух литераторов. Перед публикой на подмостках разыгрывалась полемика о модернизме, “нужен ли Джойс нам или не нужен”, а за кулисами шла битва, имевшая к данному предмету такое же отношение, какое сценические сукна имеют к лесу или озеру. Борьба велась за литературную власть, и в этой борьбе Вишневский взял верх. Если “Дима” хотел власти, то у “Сева” желание оказалось, очевидно, сильнее. “Сева” о “Диме” говорил и писал: “Князь охамел”. А в дневниках у него есть угроза Мирскому: “Получит по рукам”. Ни “левых”, ни “правых” там не было. Нам легко это себе представить: не было их и в спорах о демократии, пока шла перестройка, были готовые и неготовые перестроиться, то есть приступить к захвату государственного добра.

Так и в борьбе за литературную власть были кто посильнее и кто послабее, и кто-то оказался сильнее, понятно, не в истолковании “Улисса”. Центр схватки находился не там, где, читая зубодробительные статьи, я его искал и многие до сих пор ищут. Когда вышла книга об интересе к Джойсу в России, я в порядке переписки познакомился с автором, Нилом Корнуэллом, и пытался завести разговор о том, почему, по его мнению, когда Джойса у нас перестали печатать, удар обрушился на того, кто отнёсся к Джойсу отрицательно. Автор книги о российской рецепции Джойса, искавший в сочувствии Джойсу протест против догматизма, уходил от вопроса, а потом ушёл на пенсию, и наша переписка прервалась. Есть и другие авторы, которые по-прежнему ищут причины критической смертоносной схватки вокруг Джойса (и не только Джойса), разграничивая левых и правых, передовых и отсталых, преследуемых и преследователей. Ищут и не находят того, что ищут. Не там и не то ищут!

Вот и английский биограф Мирского недоумевает, зачем Мирский писал об Олдингтоне, когда о нём будто бы “не знали даже англичане”¹³. Мирский писал об Олдингтоне, когда (по свидетельству Сноу) тот, автор “Смерти героя”, являлся одним из самых известных английских писателей. Как мог биограф Мирского допустить подобный недосмотр? Так ведь другой английский исследователь, изучавший восприятие Джойса в России, уклонился от попыток установить, почему советскому противнику Джойса дорого обошлась критика Джойса. Американской преподавательнице в романе Джойса показался просто милым персонаж, который вызвал возмущение у множества читателей-современников Джойса. Наш поэт, ставший и американским поэтом, считал излишним говорить, почему подверглись репрессиям составители антологии современной английской поэзии. За данность принимаются версии, о которых будто бы “излишне говорить”, а мне кажется, говорить ещё и не начинали.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. Денис Бабиченко. Жданов, Маленков и дело ленинградских журналов. Вопросы литературы, 1993, № 3. С. 201–214.

² Гаррисон Е. Солсбери. 900 дней. Блокада Ленинграда. Перевод Регины Тодд. New York: Harper, 1969. С. 854–863.

³ Владимир Адмони. Северная смуглость. К 70-летию Фёдора Александровича Абрамова. — “Искусство Ленинграда”, № 2, 1990. С. 30.

⁴ Какие времена ни возьми, государственное разложение начиналось с разгула

плоти, социальные перевороты находили выразительное литературное отражение в эротике. “Опасные связи” – назревающая Великая Французская революция. Перед падением Российской империи – Арцыбашев и арцыбашевщина. “Русская красавица” – развал СССР. Уровень дарований различен, но, надо признать, всё это поучительно, какую из книг ни возьми. Ещё до “Русской красавицы”, когда кандидатура Виктора Ерофеева рассматривалась на Приёмной комиссии Союза писателей, я его поддержал. Принять Виктора приняли, но приём задержали: за рубежом оказался выпущен составленный им альманах “Метрополь”. Из этого родилась легенда, будто Ерофеева не приняли. Нет, отложили.

⁵ См. *The New York Times*, May 2, 2014. P. A23.

⁶ Isaiah Berlin, Anna Akhmatova: A Memoir – in: *The Complete Poems of Anna Akhmatova*, Ed. Roberta Reeder, Somerville, Zephyr Press, 1990, vol. II. P. 27.

⁷ См. Brian Roberts, *Randolph. A Study of Churchill's Son*. London: Hamish Hamilton, 1984. P. 288–290.

⁸ Isaiah Berlin. *Op. cit.* P. 43–44.

⁹ David Brooks. *The Road to Character*. New York: Random House, 2015. P. 168–169.

¹⁰ И. Б. Роднянская. Движение литературы. Москва: Языки славянских литератур, 2006. Т. I. С. 441–442. Роднянская полемизировала с моей статьёй “Трудные разговоры о “трудной” литературе”, опубликованной в “Литературной газете” (1968) и вошедшей в мой сборник “Пристрастия и принципы” (1991).

¹¹ Richard Ellman. *James Joyce*, New York: Oxford University Press, 1959. PP. 537, 722, 749–750.

¹² Говоря о своем любимом английском поэте Уистене Хью Одене (которого зоили называют “худшим из всех знаменитых поэтов”), Бродский вспоминает, как он впервые прочёл переводы из Одена в антологию “Английская современная поэзия от Браунинга до наших дней”. “Нашими”, – продолжает Бродский, – были дни 1937 года, когда этот том был издан. Нет нужды говорить, что почти все его переводчики вместе с редактором М. Гутнером вскоре после этого были арестованы и многие из них погибли” (Иосиф Бродский. Письмо Горацию. Москва: Наш Дом, 1998. С. LX). По-моему, напротив, есть нужда говорить о репрессиях, обрушившихся на тех, кто принял участие в антологии: одна из вроде бы ясных ситуаций, которые на самом деле вовсе не ясны. Редактором-составителем антологии Бродский называет Гутнера, очевидно, не зная о том, что я слышал от отца: Михаил Гутнер – подставное лицо, составил антологию Д. М. Святополк-Мирский. С его арестом на титул поставили Гутнера, однако это не защитило антологию от губительных последствий. За что же в самом деле наказали переводчиков вместе с псевдосоставителем? Пока могу указать лишь на один факт: в антологию включены поэты, известные своим антисемитизмом, в том числе, боготворимые Бродским – Оден, тогда ещё не перешедший от анти- к филосемитизму, и стойкий антисемит Элиот, который сделался идолом Бродского, который свою Нобелевскую речь произнёс, развивая мысль Элиота об ответственности поэта перед языком (Элиот развивал Валери). Мимолётность моих встреч с Бродским не даёт мне оснований строить догадки о его выборе достойных подражания поэтов, но не вижу у него заинтересованности выяснить, кто кого преследовал и почему.

¹³ G. S. Smith, D. S. Mirsky: *A Russian-English Life*. New York: Oxford University Press, 2000.